

*Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire,
ce soir-là, à la terrasse d'un café.*

Patrick Modiano

*Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire,
ce soir-là, à la terrasse d'un café.*

Patrick Modiano

Я — никто. Просто светлый силуэт,
в тот вечер, на террасе кафе.

Патрик Модiano

Отца не стало в седьмом часу.

— Я в магазине, — сказала бабушка, — целую тележку набрала: пеленки, подгузники. Теперь ничего не нужно.

Через сколько-то — я вернулся на веранду и сел — позвонила мама. Я снова вышел в переулок, мама плакала. Я спросил:

— Тебе бабушка позвонила?

— Нет, я сама позвонила. Сёма уехал только что. Я нашла телефон пятнадцатой и...

— И тебе сказали?..

— Ничего мне не сказали. Спросили, кто я. Отвечаю: бывшая жена. А они: мы уже звонили Людмиле Ивановне — и прощаются.

— А ты?

— Я все сразу поняла и спрашиваю: он умер? Девушка замолчала, потом говорит: подождите. Потом дала завождения...

— Понятно. Бабушка только что звонила: она в магазине — покупала по списку.

Мама снова заплакала:

— Как жалко его, он какую-то глупую жизнь прожил, будто не свою.

Я молчал, смотрел, как в другом конце переулка рабочие в бесформенных куртках, серых с рыжим, врезают в асфальт перфораторы.

— Ладно, — вздохнула мама. — Позвоню Людмиле Ивановне.

Я еще следил за рабочими, за кусками асфальта, за щебенкой, брызжащей в стороны. Наконец повернулся к веранде, поднялся на ступеньку — передумал. Дошел по переулку до угла, огляделся: те же куртки, серые с рыжим, те же пыль и шум. Подумал, не уйти ли совсем: ничего не объяснить, не простаться? Объясню потом, скажу, что нужно было, что хотелось одному, — нет, херня: на веранде вещи и не хочется одному — вообще ничего не хочется. Вернулся, поднялся на ступеньку — снова телефон: бабушка.

— Похороны в понедельник, — начала она.

Я подумал, что вот похороны и так далее, — а мне все равно: я только за нее боюсь — хотя отец

болел долго, все равно боюсь, чтобы выдержала, не сдала. Я представил, как она стоит с тележкой, в тележке пеленки — и звонок: здравствуйте, заводдления, умер. Тут же зачем-то заплакал, затвердил:

— Я приеду, завтра приеду. Сейчас — билеты, завтра — приеду.

Бабушка тоже заплакала. Я спросил:

— У тебя деньги есть?

— Что-то осталось.

— Может, перевести?..

Рабочих сменил экскаватор: асфальт, расхераченный в куски, переходил — ковш за ковшом — в самосвал.

— Не надо. На карте половины цифр не видно: еще перепутаю чего-нибудь.

Я почувствовал на плече ладонь, посмотрел на пальцы: крупные, плотные, на безымянном — кольцо. Я повернулся: Фарик.

— И карта не помню где, — сказала бабушка.

Я показал в глубину веранды — Фарик понял и ушел. Я еще пообещал чего-то — бабушка ответила, потом положила трубку. Я постоял с минутой между верандой и переулком, держа телефон у уха. Самосвал трескуче ехал по остаткам асфальта. Понемногу темнело.

Я вернулся, сел, заметил перед собой дощечку с шестью шотами. Перед Борей стояла такая

же — уже без одного. Вася пил пиво, Ксюша — вино. Фарик листал меню.

Мне не хотелось шотов. И пить не хотелось. Мне вообще ничего не — хер с ним.

Фарик взял пиво — я тоже: на запивь. Боря свои шоты будто закусывал: выпьет, выпучит глаза и сидит, жует пустоту. После второго я спросил:

— Боря, а что мы пьем?

— Мужской набор, — сказал Боря.

— Больше мне мужского не бери: это же пиздецкий спирт — пить нельзя.

— Чего тогда брать?

— Бери мне женского.

Боря кивал, улыбался — вот взять и сказать ему: Боря, отец-то умер. Тут же представил, как Боря морщится, ищет слова, опять жует воздух — и так его жалко стало, словно его отец умер, а не мой. Рядом Ксюша говорила про новый комикс, про какие-то канавки и пузыри. Вася слушал. Фарик смотрел на меня поверх стакана, шурился. Показал ему фак: дескать, отвернись — он отвернулся.

— А я им сказала: два полосных подряд — это убожество.

— Зачем вообще с ними разговаривать? На хер шли — и всё.

Я встал, пошел искать туалет — просто так: ссать не хотелось. Долго держал руки под кра-

ном, рассматривал в зеркале лицо — небритое, бледное. Сосчитал в уме шоты (четыре из шести) и пиво (два стакана), вспомнил, что не ел с обеда. Вышел, остановил официантку, заказал борщ. Над столом и посудой одиноко темнело Фариково лицо: остальные курили. Прежде чем сесть, опрокинул в себя шот, почувствовал, как спирт течет по пищеводу.

— Ты прочитал? — спросил Фарик.

Я ответил:

— Нет, — хотя не понял, о чем он, чего он хочет.

Фарик молчал. Принесли борщ. Я съел две ложки, поговорил о чем-то с Васей, решил позвонить бабушке: телефона не было — ни в кармане, ни на столе.

— Посмотри в рюкзаке, — сказала Ксюша. — Короче, сделала я второй полосной, а эти пидоры не собираются доплачивать.

Я достал из рюкзака блокнот, бумажник, паспорт, влажные салфетки. Потом рука нащупала маленькое, твердое — пирамидка. Я с минуту вертел ее в руках — вместо вершины белеет скол, на боку курсивом *Djerba* — и не мог поверить, что вчера...

Зазвонил телефон — недалеко: Вася показал на официантский буфет. Официантка открыла

выдвижной ящичек, объяснила: нашли в туалете, принесли ей. Вернула с пропущенным от Полины. В переулке почти стихло: ни самосвалов, ни перфораторов — только голоса расплывчато с веранды.

— Терпимо, — ответила бабушка. — Агент приехала: сидим, считаем.

Я соврал:

— Взял билеты — после обеда буду.

Потом подумал как-то обозначить, хотя бы сделать вид, что больно, что не все равно. Выдавил:

— Держись.

И через паузу:

— Пожалуйста.

— Держусь, — сказала бабушка, — нужно проводить достойно. Перезвони мне, ладно? А то неудобно.

Заметил Фарика — прямо за спиной, с сигаретой, хотя обычно не курит:

— Всё хорошо?

Я пожал плечами.

Боря заказал мне женский набор: четыре вместо шести, пахнет жвачкой. Себе взял опять мужской, уже выпил два шота — сравнял счет. Блокнот, бумажник и так далее — все валялось по скамейке; рюкзак — на полу.

— И теперь все панели поползли — ну нахуй я с ними связалась? — спросила Ксюша.

Я отправил в рюкзак пирамидку — скол чуть оцарапал палец — и ответил:

— Отец умер.

Все посмотрели в стаканы, постучали пальцами по стеклу, повздыхали. Наконец выпили — Боря даже сказал:

— Не знаю, чего сказать.

Я подумал, что вот их четверо: Боря, Вася, Ксюша, Фарик. Вот девятое июня, вечер — вечер можно описать: стемнело, какие-никакие звезды, дощатый пол, переулок, холодный борщ. Можно описать умнее, точнее: заметить слезы вдоль Ксюшиной переносицы, еще раз вспомнить, что Фарик шуруется, что Борин рот живет отдельной от Бори жизнью. Но все равно: все будет ложью. Как ни описывай вечер, как ни старайся восстановить каждое слово — ни одно из них не выдашь за правду, никто не поверит в слова. Что, например, сказать о Ксюше — кроме пузырей и слез? Что у нее есть муж (на двенадцать лет старше ее), что она спит с Васей, что до этого спала со мной: дважды у нее, один раз в пивной на Красных Воротах, в туалете на подоконнике — она даже колготки не сняла, — что у нее нет подруг, что еще осенью она обсуждала с Борей, не пидор

ли я, что недавно обсуждала со мной, не пидор ли Боря, что у нее вкусно пахнут волосы и иногда не очень — изо рта, что я ни разу не видел ее в брюках, что давно не видел ее без брюк, что у меня встал, несмотря на мужской и полженского набора и еще два пива, третье в процессе, — но это не про Ксюшу. Про Ксюшу — все время какие-то поползшие панели, какие-то имейл-трагедии, вечное «нахуй я с ними связалась». А еще истории из студии: она вроде бы спит с главредом, но хочет это прекратить — она все может сама, она действительно может, она умная и не шлюха — не знаю, зачем она со всеми спит: кажется, от скуки. Такая вот Ксюша — можно ли в нее поверить? Я и сам не верю — сам не помню, что правда, а что —

Боря говорил про какую-то тетку: долго умирала, дорого хоронить. Я перебил:

— Давайте по домам.

— Рано, — отрезал Боря.

Выпили, у Бори созрели соболезнавания — это было не нужно, пустая трата Бориных сил. Я не слушал — точно оглох: смотрел, как Боря беззвучно старается, лепит *подходящие* слова друг к другу. Боря бывает хорошим товарищем: позвонил сегодня в четвертом часу, сказал, что не хочет на пары, хочет в кино — на Серебренникова.